

ШОЛОМ АШ
EASTERN JEWISH
INFORM. BUREAU

"НИАС"

P. O. Box 1425. SHANGHAI

ГОРОДОК

Поэма из еврейской жизни в Польше

Перевод с еврейского Б. П. Бурдеса.
Критико-биографический очерк

О. РАПОПОРТА



ШАНХАЙ

1943

да. Иными словами, возник вопрос: если живое сердце еврейской жизни находится в городах, так почему же еврейская литература заполнена местечком, его типами и проблемами? Почему еврейская городская жизнь не получает в нашей литературе такого художественного полноцветного отображения, как местечко?

Эта проблема не нова, — она уже встала перед еврейской литературой 40 лет тому назад и при появлении «Городка» Аша она получила классическое выражение у классика еврейской художественной критики, Баал-Махшовеса.

В своей статье: «Дедушка и внук» («Абрамович и Аш») Баал-Махшовес с присущей ему ясностью мысли ставит и разрешает вопрос, почему еврейская литература паломничает в местечко,

«То, что молодой, талантливый поэт, — пишет Баал-Махшовес, — совсем погружается в полумертвое прошлое, может быть объяснено двояко: или это доказывает, что это прошлое уж не так мертво, как иным «маскилим» кажется, или что нет настоящего, нет ясного будущего, которые могли бы служить источником поэзии»...

... «То, что у нас есть полного и целостного, находится еще в прошлом. И поэт, который хочет черпать из полного и целостного, идет к прошлому, принужден идти к прошлому».

... «Высмеивайте романтику, но не забывайте, что, только благодаря современной романтике, мы перестаем чувствовать себя

Местечко в еврейской литературе

Еврейская литература — это литература местечка. Все писатели-основоположники еврейской литературы — родились и выросли в еврейских местечках, в которых еврейские массы Российской Империи до конца 19 века преимущественно проживали. Не удивительно, поэтому, что еврейские писатели, изображая жизнь еврейских масс, преломляя в творческих образах свой жизненный опыт и свою среду, стали поэтами и бытописателями местечка.

Еврейская литература выросла из местечка и черпает свое вдохновение из него. Местечко до того господствует в еврейской литературе, что даже в последние десятилетия, когда еврейские массы в эмиграционных и в насиженных центрах заполняют города (а оставшиеся в местечках живут в городах духовно, рвутся к ним и черпают из них свою духовную пищу), — даже в последние десятилетия наша литература в общем была маломестечковой. Писатели, покинувшие местечко еще в раннем детстве, почти атавистически возвращаются к местечковой тематике. Очевидная маломестечковость нашей литературы нашла отзвук даже в ее проблематике: в проблеме местечка и горо-

I

цыганами, без прошлого, без рода и племени»...

Баал-Махшовес воспринимал литературу не только эстетически, но гораздо шире, — она преломлялась у него сквозь призму национальной проблематики нашей жизни. И поэтому Баал-Махшовес так глубоко и верно понял «Городок» Аша. Эта «поэма из еврейской жизни» (из староеврейской жизни) имеет не только поэтическую ценность, не только литературно-эстетическое значение, — она объясняет и освещает и нашу современность. То, что поэт паломничает из города в местечко, то, что уже два поколения наслаждаются этой поэмой, имеет свои корни в настоящем. Наша современная жизнь, с одной стороны, потеряла свое внутреннее равновесие, с другой, стала бесформенной. И наша жизнь тоскует по цельности, по жизненному стилю, по внешней и внутренней оформленности. Вот эта тоска поколений великого распада, поколений переломной эпохи воплотилась в поэме Аша. И поэтому она так очаровала и так чарует. Она удовлетворяет не только литературно-эстетические потребности, но успокаивает и душевную тревогу евреев, потерявших свою духовно-национальную устойчивость. Мы опираемся о «Городок» Аша, мы вдыхаем аромат его целостности, мы наслаждаемся устойчивыми жизненными линиями этой старой жизни и — мы отдыхаем, набираемся сил. Мы чувствуем, — как это прекрасно выразил Баал-Махшовес, — что мы не цыгане, не люди без рода-племени, и это хорошее противоядие против цинизма, сопутствующего

II

III

потере духовного равновесия, духовной деклассированности.

Иными словами: «Городок» Аша это не просто литературная экскурсия, а акт общественно-национальной самозащиты. «Городок» Аша пробуждает в нас здоровую зависть к нашим отцам и праотцам, которые имели и духовную, и просто физическую почву, в которую они пустили глубоко свои корни. Эта зависть вызывает, как всякая зависть, беспокойство, мы стряхиваем с себя бессмысленную национальную беспечность и требуем у себя самих отчета, национального отчета. Как всякая здоровая романтика, и романтика «Городка» служит реальной жизни, не отрывая ее от движения вперед, но напоминая о том, чего в ней не хватает. Не «формам староместечковой жизни зовет «Городок» Аша, а к ее целостности, к ее насыщенности духовной национальной самобытностью, к ее насыщенности полнотой жизни несмотря на все препятствия, вопреки всему, что мешает ее прогрессу.

* * *

Еврейская литература, как я сказал выше, является литературой местечка. Можно смело расширить это определение и сказать, что еврейская литература является литературой местечек: местечка Менделе, местечка Шолом - Алейхема, местечка Вайсенберга, местечка Бергельсона и т.д., и т.д. Но местечко Аша занимает особое место в галлее наших литературных местечек. Это — местечко-символ, местечко-мечта. Все живописали местечко с широко-раскрытыми

IV

зоркими глазами, пронимая ее насквозь реально, и только Аш писал свой «Городок» с закрытыми глазами, вспоминая-мечтая. И эта мечта была вызвана не индивидуальной потребностью Аша, а потребностью его поколения, потерявшего путь по выходе из местечка. Настроение это особенно хорошо выразил Номберг, изобразитель еврейского интеллигента, затерянного в чужом городе: Герой «В хассидском доме» чувствует себя «в чужом городе, среди чужих людей и чужой жизни.» Это чувство целого поколения. И вот, потерянное духовно-национально в чужих городах, это поколение Аша закрыло глаза и с блаженной улыбкой погрузилось в мечту о своем местечке, где была такая прямая дорога, где так легко было держаться в равновесии.

Хорошо, когда заблудившийся немного помечтает о родном доме, — он черпает из воспоминания-мечты уверенность в себе, надежду, а может быть, и видение дальнейшего пути. *)

О. Рапопорт

—*) Подробнее о „Городке“ Аша смотри издания „Еврейской Книжки“:

- 1) „Еврейские Писатели“ О. Рапопорта и
- 2) Шолом Аш: „Рассказы“ (предисловие О. Рапопорта).

V

Дорога в Городок болотиста. Сегодня канун Пурима. Снег на полях тает, и на не-объятной снежной поверхности там-и-сям уже выступают черные земляные пятна. Семена, всю зиму покоившиеся в земле под снежным покровом, разбухли и, пробиваясь, вбирают в себя соки матери-земли. По черным пятнам можно догадаться, что мать-земля беременна... Вдали, на дороге, с обеих сторон усаженной липовыми деревьями, виден одинокий путник с котомкой на спине и палкой в руке. Черные вороны перелетают с дерева на дерево, рвут длинные снежные нити на ветвях и уносятся вдаль. Дорога ведет путника в Городок. Пойдем вместе с ним и опишем в этой книге все, что увидим, все, что услышим.

I Д о м

Дверь «дома» открыта весь день, всю ночь, и тут, словно в гостинице, люди то приходят, то уходят. Собственно, это «дом» реб Иехезкля Гомбинера, и, однако, это городской дом, открытый для всех и каждого, — своего рода общественная собственность. Зайдет чужой человек, сядет — никто не обратится к нему с вопросом: «что скажете, еврей?» — Тут всякий у себя. Рано утром, с талесом и тефилим под мышкой выходит какой-нибудь обыватель из своего жилища. Он запросто входит к реб Иехезклю в «дом» и велит одной из прислуг подать себе стакан чаю. Будьте уверены, в «доме» вам подадут и стаканчик борща, за которым чаще всего приходят зимою, в послеобеденные часы, когда на улице трещит мороз, и хочется согреться. Что же сказать о тех случаях, когда Малкеле, жена реб Иехезкля, сварит чесночный борщ...

Вообще угощаться в «доме» никому не стыдно, таков уже обычай. Покушать борща, напиток воды — сделайте милость, не стесняйтесь. Какой-нибудь городской обывательнице лень затопить печь у себя, — она берет свой горшок и несет к Малкеле. В кухне Малкеле часто весь Городок представлен своими горш-

2

ночи, которую они принесли с собой с улицы. На их головах енотовые шапки с небольшими «лапками», прикрывающими уши. Шапки и воротники подернуты инеем. От комнатного тепла он тает и стекает крупными водяными каплями. В комнате они уже наследили. Вот они подошли к большой печи в углу, и она посылает им свое тепло навстречу, но не подпускает к себе. Тепло их охватило. Они сняли шубы и остались в полосатых кафтанах с красными кушаками. Только теперь можно рассмотреть их бороды, — белые, черные, короткие, длинные. Те, что помоложе, уступили места у печи старикам, а сами улеглись кто на скамью, кто на стол, и начинают уже дремать. Старики безмолвно сидят вокруг печи, и лишь изредка один обращается к другому с каким-нибудь деловым вопросом. Ответ следует после продолжительного молчания.

Теперь ночь смотрит в окно, как сквозь серые очки, и кажется, что кто-то влил несколько бочек света в черный океан ночи. И свет делает тьму еще более серой. Откуда-то доносится длинное протяжное пение проснувшегося петуха. Где-то громынули колеса по камням, нарушив ночную тишину. Ночь сквозь свои серые очки глядит все чаще в окно. Уж не вливает ли кто-то новые бочки света в ночную тьму... В смежной комнате, слышно, уже зашевелились, льют воду, ходят взад и вперед. Еще минута, и уже оттуда доносится старческий голос, нараспев и с надрывом читающий псалмы. И растет, растет этот голос, как бы снаряжаясь в далекий путь. Вот зазвучал смелый тонкий молодой голосок. Торопливый и

4

ками. Случается, хозяйки обывательницы напутают, переменятся горшками, и тогда жизнь как говорится, закипит во всю. Если гденибудь слуга разсердился и ушел со двора, — будьте уверены, он обретается в сарае реб Иехезкля. Заботиться не о чем. Хлеб и булки у реб Иехезкля никогда не держат под замком. Все на кухне. Приходи и бери. Это так просто, как напиться воды. Всегда есть также в погребе масло и редька, а ключ от погреба висит на кухне у горничной Йенте. Славная девка эта Йенте! А заупрямится, так можно и побить ее. Так велит сам реб Иехезкль.

Ночь опустилась над Городком, приняв его под свою защиту, и все кругом скрыто в ней. К полуночи внезапно раздается стук лошадиных копыт и движения колес по камню. Шум замирает, когда сквозь притворившиеся ставни на улицу прорывается луч света. Кто-то выходит из брочки... Грузные хозяйские шаги слышны в сенях; приехали, очевидно, свои люди, судя по тому, что они живо нащупывают ручку двери, отворяют и входят в «дом».

В просторном и продолговатом «доме» никого нет. Он переполнен тенью. Большая зимняя лампа под широким колпаком, напоминающая бабушку в широком переднике, одиноко горит по середине комнаты. На приехавших евреях длинные широкие енотовые шубы. Широкие воротники отогнуты. У каждого на шее широкий красный шарф. В складках шуб еще покоится темная тайна

3

точно на кого-то жалующийся, он врезывается в старый скорбный мотив, хочет заглушить его, но вскоре отделяется от него, звучит самостоятельно и, выводя отчетливо каждый слог «О... мар... а... бай... э», — тоже о чем-то плачет. Бог знает о чем. Евреи, сидящие у печи в «доме», услышав «голос Торы», вскакивают и протирают глаза. Один из них подходит к окну и прикладывает руки к стеклу, чтобы наспех обмыть их. Потом они вынимают из карманов маленькие молитвенники, и читают острым полулитовским акцентом, как бы откликаясь на звуки, доносящиеся из смежной комнаты: «Зачем возмущаются народы, и племена замышляют тщетное?»

Кажется, все эти голоса приветствуют друг друга, говорят «шалом-aleyhem» еще прежде, чем свиделись люди.

И еще серее становится ночь, глядящая в окно, так что берет сомнение, занимается ли утренняя заря или умирает вечерняя...

На кухне колют дрова, бьют яйца, что-то переливают из одной посуды в другую. Дверь отворяется, люди суетятся, входят, выходят, что-то наливают, что-то кладут на стол. Каждый занят каким-нибудь делом... Из отдаленной комнаты доносится плач ребенка. И кажется, что все эти голоса слились в один: скорбный голос еврея, нараспев и с плачем читающего псалмы, тонкий мотив на слова из талмуда, удары топором по полону, треск огня — все это приветствует вновь родившийся день, смотрящий в окно, и говорит ему:

— С добрым утром!

5

В нашей комнате наполовину уже рас-
свело. На столе нагромождены шубы, сюр-
туки, шарфы. Торчат длинные ноги рослого
парня, сидящего на диване.

Двери и ворота открыты. Приходят евреи
разных возрастов, — высокие, низкие, длин-
нобородые и с бородками совсем еще ма-
ленькими. Они обмениваются обычным «ша-
лом-алейхем» и вмиг завязывают деловые
разговоры. Говорят, спорят, на некоторые
вопросы совсем не отвечают, на другие дают
слишком длинные ответы. Вот один еврей,
подхватив другого под мышку, увлекает его
в угол и шепчет ему что-то на ухо. Другой,
стоя у маленького столика, смотрит в моли-
твенник, но одним глазом косится на тот
угол. Вот и он берет кого-то под руку.
Уходит с ним в другой угол, точно он хочет
сделать поперек тому, кто первый стал
шептаться: «и у меня тоже есть свой секрет».

Тем временем просыпается еще кто-то,
одевает талес и тефилим и начинает молить-
ся. Вот и еще кто-то, словно бы желая со-
перничать с ним, тоже начинает готовиться
к молитве. Напротив двое евреев стоят у
стола и заняты счетом. У одного в руке
мелок, которым он выводит цифры. Сосед,
послунив палец, стирает их, а тот снова
выводит. В другом углу стоят еще двое.
Один из них, с рыжей бородкой и круглым
животом, отсчитывает другому деньги на
столе. Он считает серьезно, точно молится.
«Семьдесят четыре, семьдесят пять, семь-
десят шесть», — произносит он отчетливо,
внятно, как бы желая сказать: «вот что
значат деньги!»

6

В «доме» есть отдельная комнатка —
«кабинетик», как ее называют, — для самого
реб Йехезкля. Надо видеть его, когда он
сидит на своем «вольтеровском кресле» за
четырёхугольным письменным столом. Реб
Йехезкль — толстый еврейчик, низенького
роста, с коротенькой белой бородкой. Одной
рукой он придерживает на носу очки, из
которых постоянно выпадает одно стеклы-
шко. Он поднимает его, вытирает платком
и снова водворяет на носу, обращаясь с ка-
ким-нибудь вопросом к своему «человеку»,
реб Тувье, или сам отвечая ему на вопрос.
Реб Тувье, высокий еврей с исхудалым ли-
цом, отвечает ему торопливо, с улыбкой,
как бы говорящей:

«Все хорошо, все в порядке».

Завернутый в свой широкий длинный
халат, с четырёхугольной шапкой на голове,
реб Йехезкль катает одной рукой шарик из
мягкого хлеба и внимательно слушает сво-
его «человека». Вот лицо его хмурится. Он
разсердится, но это не надолго, на одну
минуту. Сейчас к нему вернется хорошее на-
строение. Он просто хочет посоветоваться
со своим «человеком».

Реб Йехезкль выдвигает ящик из пись-
менного стола, достает какую-то бумагу и
говорит реб Тувье:

— Вольф должен написать в Данциг, что
первый транспорт отправлен.

В эту минуту дверь открывается, и пре-
жде всего показывается чья-то голова. «С
добрым утром», произносит она. Затем го-
лова исчезает, и в комнату входит крестья-
нин высокого роста. Его длинные сапоги

8

Отворяется дверь, и в нее стремительно
входит высокий слепой еврей, одноглазый,
с длинной, красноватого цвета, бородой. Он
с места набрасывается на рыжего, что счита-
ет деньги, и осыпает его бранью:

«Ты что, рыжий пес, двести пятьдесят
рублей даешь? С ума, что ли, ты сошел?»

Рыжий продолжает считать деньги — сто
один, сто два, — а его собеседник, обра-
щаясь к слепому, все повторяет одну и ту
же фразу: «какое дело тебе до моих денег?»
Однако, едва тот успевает отправить деньги
к себе в карман, красный и рыжий уже шу-
шуются. Очевидно, они заключили мир.
На том же столе в красных носовых платках
лежат образцы пшеницы. Каждый вновь
приходящий хватается пару зернышек, осма-
тривает их, потом кладет в рот и спраши-
вает: «почем?» С вопросом обращаются не
к кому-нибудь, а так, вообще. Не получая
ответа, еврей разжевывает зернышки, и на
лбу у него образуются складки. Он, очевид-
но, шевелит мозгами и хочет сам додумать-
ся до ответа, которого не мог добиться.

«Дом» служит городской биржей. Мелкие
торговцы скупают хлеб у крестьян и пере-
продают его в склад реб Йехезкля. В «доме»
обделываются все дела, и не только те,
что касаются так или иначе реб Йехезкля,
а вообще, все дела, кого бы они ни каса-
лись. Хочет ли кто пристроиться к делу,
потереться около него, собирается ли кто,
перестав жить на всем готовом у своего
тестя, выступить на торговое поприще, —
все идут сюда в «дом», потолкаться в этой,
если угодно, торговой академии.

7

покрыты толстым слоем грязи и оставляют
заметные следы. Лицо красно, и капли пота
стекают с мокрых волос. Не говоря ни
слова, он разстегивает сначала кафтан, по-
том жилетку, вытаскивает что-то оттуда, и
передает реб Йехезклю письмо.

Пока реб Йехезкль читает, реб Тувье
вступает в разговор с крестьянином. Но
тот, не отвечая ему, смотрит на реб Йехез-
кля и что-то ждет.

— Надо запрягать. Я сам еду в Триск.

— Говорил я тогда, что не надо по
реке... До праздников две недели, кто знает,
что будет с первыми морозами, когда здо-
рово забереет, — обращается реб Тувье к
реб Йехезклю не без оттенка гнева в голосе.
Реб Тувье сам, очевидно, догадался, в чем
дело.

— Пропало, так пропало. А поставить
дрова я был должен. Плоты были связаны
очень хорошо... Веревки были крепкие. По-
года стояла хорошая. Попробуй угадать!
Что тут поделаешь? Ясно, так на небе реши-
ли. Кто же мог предвидеть, что Висла ста-
нет еще до Хануке?

— Надо взять с собою Антека и Соколь-
ского. На чердаке лежат несколько сот свя-
зок брусков, багры и веревки. Ну, что вы
скажете, реб Тувье?

— Лед начинает трогаться, пишут мне.
Дай Бог, чтобы глыбы были небольшие.
Но Триск, кажется, место тихое, течение
там не быстрое. Коли Бог поможет, и лед
вскроется не сразу, можно будет спасти
дрова, — заканчивает реб Йехезкль.

— Бог поможет...

9

В Гомбин надо двести рублей послать. Бецалель пускай едет в Шеменец к реб Авруму Плоскеру, и там купит. Я боюсь, чтобы шеменцы не расхватали овец. Поручиться нельзя.

И, продолжая говорить, оба, хозяин и его «человек», переходят в другую комнату.

Народ почти весь во дворе, у склада, где развешивают хлеб. В «доме» — одни приезжие, прибывшие ночью и привезшие хлеб, да еще два городских маклера. Один из них, еврей в «нееврейской» шапке, в коротеньком сюртуке, в воротничке и с тростью в руке. Это — Козек — маклер при разных панах, сам величающий себя панским маклером. Его и на этот раз прислал к реб Иехезкю какой-то пан из кондитерской. О чем бы ни говорил Козек, он после каждого слова поминает пана и кондитерскую. Другой — реб Хацкель Эпштейн, еврей-хасид, когда-то самостоятельный купец, теперь обедневший и опустившийся. Маклером он сделался, главным образом, потому, это имя Эпштейн как то особенно подходит к этой профессии. На нем ластиковый длиннополый сюртук, порядком засаленный, изорванный, но не совсем утративший блеск тех прежних дней, когда его обладатель слыл богачем.

Реб Иехезкль приветствует каждого из приезжих обычным «шалом алейхем», и, прежде чем кто либо успеет слово сказать, всех увлекает за собой к рукомойнику и предлагает совершить омовение рук перед едой. В комнату входит высокая толстая еврейка. На ней передник и на нем большая связка ключей, позвякивающих и как бы

10

снега, который так долго лежал, что, кажется, он стал второй землей. Кругом, в лужах, отражаются лучи, — светлые дочери солнца. Во дворе над головой летают голуби, опускаются на землю, хватают зерна овса, величаво раскрывают свои белые крылья и улетают. Зерна овса разбросаны на каждом шагу, и весь двор утопает в богатстве... Весело кудахтают куры, поклеывая овес и путаясь под ногами. У сарая на цепи в конуре лежит «Бурек», большой кудластый пес. Он то-и-дело высовывает свою толстую голову, точно ждет приказа. Белая криворогая коза и низкорослый ягненок, словно заключив между собою товарищеский договор, вместе тащат клочки сена с воза на середине двора. Совсем, как во времена, предсказанные Исаией!

На другом конце двора лежат примерзшие доски и балки, наполовину еще в снегу. Молодые парни, пробираясь по ним, доходят до сарая с настезь раскрытыми дверями, перед которыми стоят большие весы. Один кладет гири, а другой, стоящий тут же «писец», молодой человек в кожухе с меховым воротником, отмечает вес в книжке. Через открытую калитку один за другим везают возы. С них снимают мешки, вешают их и вносят в сарай.

Конюх Ноте, рослый широкоплечий детина, из гвардии реб Иехезкля, со смуглым загорелым лицом и большими светлыми глазами, выводит из сарая двух рослых лошадей — буланок. У одной на лбу черное круглое пятно. Серовато-шоколадный цвет шерсти придает этому пятну особенную яркость,

12

оповещающих о ее появлении. В ушах бриллиантовые сережки. Она накрывает стол белой чистой скатертью, и произносит тем круглым, уверенным голосом, который выдает в ней хозяйку:

— Реб Тувье, руки мыть! Реб Ноте Жохлинер, руки мыть!...

Приезжие ничего не имеют против того, что их подталкивают к рукомойнику. Позади всех двигается маклер Эпштейн. Малкеле уже успела положить хлеб на стол, вокруг которого разместился народ. С кухни доносится запах жареного лука и пар от красного борща. Он напоминает всем о близости Пасхи и возбуждает аппетит.

Эпштейн сидит за столом, как будто он тоже один из приезжих, ест и отпускает остроты. Второй маклер, Козек, уселся в уголочке на периле кресла. Он покручивает усы и сидит так, что нельзя собственно с точностью сказать, сидит он за столом или не сидит. Можно подумать, что да, но можно также сказать и нет. На Эпштейна он смотрит свысока. Служанка, повидимому, ошибается и, решив, что Козек тоже сидит за столом, ставит и перед ним тарелку. И сам Козек, повидимому, даже ошибается, подвигается к столу и начинает есть... И опять можно подумать, что он действительно ест, и можно сказать, что он только отведывает кушанье...

Во дворе теперь совсем другая жизнь. Сегодня канун праздника Пурим. На земле еще стоит зима, но с неба и с четырех концов мира весна уже шлет свой привет. Тает, и текут ручьи из-под мерзлого

11

и оно кажется черным глазом. Гривы лошадей расчесаны и заплетены в косички. Вскормленные на овсе, эти любимцы Иехезкля понимают своего хозяина. Они знают, когда надо ехать. Для них есть кнут, но только так, для виду. Еще не было примера, чтобы они оставили реб Иехезкля на субботу в пути. Они как будто чувят, когда настает пятница и надо спешить домой на субботу. Реб Иехезкль может положиться на них, а если они, паче чаяния, «выкинут какую-нибудь штуку», он сам, своею рукой, погладит их по шерсти...

Досужие люди болтают, будто в лошадей реб Иехезкля сидят души его старых должников. Их векселя хранятся в шкафу у реб Иехезкля, а сами они не могут успокоиться в своих могилах, пока долг не уплачен...

Ноте надевает свой зимний короткий кожух, длинные кожаные сапоги и солдатскую меховую фуражку, на которой недостает только жестянки. И привычной широкой поступью он подводит к бричке своих товарищей, надевает им на шею хомуты с медными кантами, наряжает их в новую упряжь, привязывает к дышлу синие плетеные вожжи и берется за сиденье. Антек достает с чердака багры и веревки, и укладывает их под сиденье. Зайдя в сарай, Ноте успевает одним глазком заглянуть в окно кухни. И глаз исполняет свою миссию. Вскоре из кухни выходит горничная Иенте. Красная, здоровая кровь, текущая в жилах ее толстых мясистых рук, просвечивает сквозь рукав разорванной кофты. Черные локоны

13

над красным молодым лицом, черные глаза, густые черные брови, — все это говорит само за себя. Огонь девка! Быстро, дорожа каждой секундой, она входит вслед за Ноте в сарай, вынимает из-за кофты половину вареной курицы и без слов подает ее Ноте.

Тот берет подарок, тоже ни слова не говоря как человек, уверенный, что берет по праву, что так и должно быть.

Она еще ждет...

Он знает, чего она ждет...

И потому именно, что она этого хочет, он нарочно не исполняет этого. Она нагибается, поднимает соломинку и показывает вид, будто уже собирается выйти.

Теперь и у него является желание. Он крепко обнимает ее обеими руками и, держа кнут под мышкой, вlepляет ей сочный поцелуй в щеку.

— Ну, да, женишься на мне, держи карман шире, — говорит она ему, отодвигая от него лицо.

— Живо! Хозяйка идет. Торопись, — отвечает он и выталкивает ее.

Испуганная, она спешит, но, убедившись тотчас же, что он ее обманул, останавливается у порога сарая.

— Чтобы тебе переломать в пути руки и ноги! — шепчет она с шельмовской улыбкой на лице, и бросается бежать.

— Ишь ты, сукина дочь! — огрызается Ноте.

Писец, стоящий у весов, видит, как Иенте выбегает из сарая. Он подмигивает

14

шание несколько слов своему «человеку», кивает головой то жене, то дочери, то внукам:

— Оставайтесь здоровы, занимайтесь усердно!

В стороне от этой группы, скрестив руки на груди, стоит Иенте, не спуская глаз с Ноте, важно, в сознании своего достоинства, сидящего на козлах. Задорно сидит на нем короткий кожух, молодецкато заломлена солдатская фуражка. Иенте кажется, что и кожух и шапка подмигивают ей. Ноте держит вожжи в одной руке и готов каждую минуту пуститься в путь, так же, как его кони, бьющие подковами в камни.

Иента улыбается.

Свист кнута как бы служит ей ответом.

— Будь здорова, Иенте.

Лошади трогают. Бричка мелькает на городской улице, еще погруженной в утренний сон, и вскоре исчезает из виду.

В «доме» у реб Иехезкля теперь тихо. Дела покончены, гости, приехавшие ночью, продали свой товар и уступили место купцам следующей ночи. Большой диван как-то особенно рельефно выделяется теперь со своей старомодной покрывкой, со всеми своими «ямками» и «холмиками». Длинный стол в середине комнаты исписан мелом. Исписана черная печь, исписан высокий шкаф, покрыты «счетами» все стулья и лавки. И «счеты» на столах, лавках, диване, печи и шкафе напоминают ружья, оставленные на поле битвы

16

дворнику Антеку, и тот посылает ей вдогонку — «пся крев!»

Девка показывает им обоим язык и исчезает в сенях кухни.

Свист кнута и треск от колес дают знать, что бричка готова и стоит уже у двери.

Начинают выносить вещи. Узелки, — целая куча узелков! Без провизии на дорогу реб Иехезкль никогда не трогается с места. Вот выходит и он сам в своей большой, широкой енотовой шубе. За ним, с благословением на устах, его жена Малкеле и целая куча детворы. Тут и подростки, после завтрака отправляющиеся в хедер с «гема-рами» в руках, и малые ребятишки подталкиваемые «бегельфером» (помощником мела-меда). В руках у них крендели, булки, ломти хлеба с маслом. Все они, в своих коротеньких шубках, расположились вокруг брички и ждут.

— Счастливого пути, дедушка, будь здоров!

— Счастливо оставаться, учитесь прилежно! — отвечает дедушка, вынимая из кармана брюк большой кошелек и раздавая детям «от'ездные», с пожатием руки каждому.

Из окна, между двумя кружевными занавесками, видно лицо девушки. Тонкие черты, черные шелковистые локоны, голубой бантик — придают что-то благородное, изящное, привету, который Лейэле шлет отцу.

Погода стоит прекрасная. Мороз совсем спал. Солнце весело глядит с неба. Реб Иехезкль садится в бричку, говорит на про-

15

бежавшими воинами. Они точно смотрят друг на друга, перебраниваются и готовы выколоть глаза друг другу.

Входят два еврея, моложавые, низко-рослые, жирные, с круглыми, низко опущенными животами. По складкам у горбато-го носа видно, что они родные братья. Это — Хацкель и Берель, двоюродные братья реб Иехезкля. Когда-то, еще очень молодыми людьми, они жили на иждивении у тестя. Теперь они тоже еще молоды, но уже окочиваются в «доме». Они ведь свои люди, родственники, и отчего ж бы им не зайти иной раз после обеда полежать на диване?

Оба сразу, как подобает братьям, снимают кафтаны, подкладывают их под головы, как подушки, и ложатся на диван. Сначала молча, точно им жаль слов, они прищипываются, толкая друг друга. Борьба за более удобную позицию так же безмолвно кончается заключением мира. Один остается спокойно лежать, другой устраивается у него в ногах.

Старший брат, Хацкель, почесывает одним пальцем в своей рыжей бородке. Взор его падает на какой-то счет, красующийся перед его глазами.

— Семь раз тридцать восемь сколько будет, а, Берель?

Берель отвечает храпом. Немного подумав, и Хацкель поворачивается к стене и, точно решив что-то проделать над Берелем и отплатить ему, тоже начинает храпеть.